

О том, что есть

Уиллард Ван Орман Куайн
Willard Van Orman Quine

2000

В книге:

Куайн Уиллард Ван Орман

Слово и объект. Перевод с англ. М.: Логос, Праксис, 2000. 386 с.

Книга представляет собой первое опубликованное на русском языке издание избранных работ крупнейшего аналитического философа XX века Уилларда Ван Ормана Куайна. Публикуемая в данном издании основополагающая работа американского философа «Слово и объект» внесла огромный вклад в философию языка. Книга будет интересна не только для философов, но также и для лингвистов, психологов, специалистов в области когнитивных наук и всех, кто интересуется современной философией.

ISBN-5-8163-0024-5

Перевод выполнен А.З. Черняком по изданию: Quine W. V. From a Logical Point of View. New York: Harper, 1963, pp. 1–19.

Онтологический вопрос на удивление незатейлив. Чтобы его задать, достаточно трех односложных англосаксонских слов: ‘What is there?’ («Что есть?»). А ответить на него можно вообще одним словом – «Все», и всякий признает такой ответ истинным. Однако дать такой ответ – все равно, что сказать: «Есть то, что есть». При этом мнения о том, что же все-таки есть, могут по-прежнему расходиться; и такое положение дел сохранялось на протяжении столетий.

Теперь предположим, что два философа, МакИкс и я, имеем разные взгляды на онтологию. Предположим, что МакИкс утверждает, будто есть нечто, чего, как я считаю, нет. МакИкс может, в полном согласии со своей точкой зрения, описать наше расхождение во мнениях, сказав, будто я отказываюсь признавать некоторые сущности. Я, конечно, должен буду возразить, что он неправильно формулирует наше несогласие, поскольку моя позиция состоит в убеждении, что сущностей заявленного им вида нет и что мне просто нечего признавать; но то, что я считаю его формулировку нашего несогласия неправильной, не имеет значения, так как я в любом случае обязан считать ложными его онтологические взгляды.

Но если, с другой стороны, я попытаюсь сформулировать различие наших взглядов, то, похоже, сам окажусь в затруднении. Я не могу признать, что есть нечто, существование чего МакИкс допускает, а я нет, поскольку мое признание того, что есть нечто, что он допускает, а я нет, будет противоречить моему собственному отрицанию этого нечего.

Если бы это соображение было правильным, то в любом онтологическом споре отрицающая сторона страдала бы неспособностью признать свое несогласие с оппонентом.

Это – старая платоновская загадка небытия. Небытие должно в каком-то смысле быть; иначе чего же, собственно, нет? Эту запутанную доктрину можно было бы назвать *бородой*

Платона; исторически она доказала, что представляет собой большую сложность, часто при-
тупляя лезвие бритвы Оккама.

Примерно такие рассуждения заставляют философов, подобных МакИксу, приписывать бытие там, где они вполне могли бы при других обстоятельствах удовлетвориться признанием отсутствия чего бы то ни было. Так, возьмем для примера Пегаса. Если бы Пегаса *не было*, утверждает МакИкс, то мы не могли бы говорить о чем-либо, используя это слово; следовательно, бессмысленно было бы даже говорить, что Пегаса нет. Он заключает, что Пегас есть, думая тем самым показать, что отрицание Пегаса не может быть когерентным.

МакИкс, конечно, не может окончательно убедить себя в том, что какая-либо близкая или удаленная пространственно-временная область содержит летающую лошадь из плоти и крови. Тогда, не имея более детального описания Пегаса, он говорит, что Пегас – это идея в человеческих умах. Но тут начинается явная путаница. Для пользы аргумента можно допустить, что есть такая сущность, и даже – единственная в своем роде (хотя это – еще менее правдоподобно), как ментальная идея Пегаса; но люди говорят не об этой ментальной сущности, когда отрицают существование Пегаса.

МакИкс никогда не спутает Парфенон с идеей Парфенона. Парфенон – физическая сущность, идея Парфенона – ментальная (во всяком случае, согласно тому представлению об идеях, которое разделяет МакИкс, а у меня нет лучшего предложения). Парфенон можно видеть, а идея Парфенона невидима. Трудно представить себе две вещи, более непохожие одна на другую и менее расположены к тому, чтобы их путали, чем Парфенон и идея Парфенона. Но когда мы переходим от Парфенона к Пегасу, возникает путаница – и причина этого только одна: МакИкс скорее позволил бы себе быть обманутым грубейшей и самой вопиющей фальшивкой, чем признать небытие Пегаса.

Представление о том, что Пегас должен быть, а иначе бессмысленно было бы говорить даже, что его нет, похоже, привело МакИкса к элементарному заблуждению. Более утонченные умы, исходя из того же предписания, строят теории Пегаса, не столь явно основанные на заблуждении, как теория МакИкса; и их взгляды, соответственно, труднее искоренить. Пусть одного из таких более утонченных мыслителей зовут Вимен. Бытие Пегаса, утверждает Вимен, представляет собой не воплощенную в действительность возможность. Когда мы говорим о Пегасе, что его нет, мы, собственно, говорим тем самым, что Пегас не имеет особого атрибута наличия в действительности (*actuality*). Сказать, что Пегас не действителен, – логически то же самое, что сказать, что Парфенон не красный; в обоих случаях мы утверждаем нечто о сущности, чье бытие несомненно.

Кстати, Вимен – один из тех философов, которые общими усилиями загубили старое доброе слово «существовать». Хотя он признает не воплощенные в действительность возможности, но ограничивает применение слова «существование» действительностью, сохраняя таким образом иллюзию онтологического согласия между ним и нами, отвергающими остальную часть его раздутой вселенной. Мы были склонны, употребляя слово «существовать» в согласии со здравым смыслом, говорить, что Пегас не существует, имея в виду только, что такой сущности нет. Если бы Пегас существовал, он, конечно, должен был бы находиться в пространстве и времени, но – только в силу того, что слово «Пегас» имеет пространственно-временные коннотации, а не потому, что такие коннотации имеет слово «существовать». Если в нашем утверждении существования кубического корня из 27 отсутствует пространственно-временная координата, то причина этого – в том, что кубический корень не является вещью пространственно-временного вида, а не в том, что наше употребление слова «существовать» двусмысленно¹. Однако Вимен, стараясь казаться согласным с нами, благодушно признает, что Пегас не существует, а затем, в противоположность тому, что мы разумели под несуществова-

¹Отчасти, возможно, идея, согласно которой наблюдение природы соответствует только вопросам о существовании первого вида, побуждает проводить терминологическое различие между существованием как характеристикой объектов, воплощенных в действительность где-либо в пространстве и времени, и существованием (или

нием Пегаса, настаивает на том, что Пегас *есть*. Существование (*existence*), говорит он – это одно, а субсистенция (*subsistence*) – другое. Единственный известный мне способ справиться с таким помутнением сознания – *отдать* Вимену слово «существовать». Я постараюсь больше его не использовать; у меня все еще остается «есть». Но хватит лексикографии; вернемся к онтологии Вимана.

Перенаселенная вселенная Вимана непривлекательна во многих отношениях. Она оскорбляет эстетическое чувство тех из нас, кто имеет склонность к пустынным пейзажам; но это – не худшая ее характеристика. Вимановы трущобы возможного – рассадник неупорядоченных элементов. Возьмем, к примеру, возможного толстого человека в этом дверном проеме и еще – возможного лысого человека в этом дверном проеме. Это один возможный человек или два возможных человека? Как можно решить эту проблему? Каким образом много возможных людей находятся в этом дверном проеме? Больше ли там возможных худых людей, чем возможных толстых? Сколько среди них одинаковых? Или – будут ли все они одним возможным человеком вследствие их одинаковости? Верно ли, что никакие *две* возможные вещи не являются одинаковыми? То же ли это самое, что сказать, что невозможно, чтобы две вещи были одинаковыми? Или, наконец, может быть понятие тождества просто неприменимо к не воплощенным в действительность возможностям? Но какой смысл может иметь разговор о сущностях, о которых нельзя осмысленно утверждать, что они тождественны сами себе и отличны одна от другой? С подобного рода неупорядоченностью почти что ничего нельзя поделать. Можно было бы предпринять некоторые усилия по их реабилитации путем фрегеанской терапии индивидуальных понятий²; но мне кажется, лучше просто вычистить Вимановы трущобы и этим ограничиться.

Я не имею в виду, что возможность, наряду с другими модальностями – необходимостью, невозможностью и случайностью, – ставит проблемы, от которых следует отвернуться. Но мы можем, по крайней мере, ограничить модальности целыми высказываниями (*statements*). Можно подчинить наречию «возможно» целое высказывание и озаботиться семантическим анализом такого его употребления; но не стоит надеяться, что такой анализ действительно позволит расширить нашу вселенную до такой степени, чтобы она включала в себя так называемые *возможные сущности*. Я подозреваю, что главным мотивом для такого расширения является всего лишь старое представление о том, что Пегас, например, должен быть, так как иначе было бы бессмысленно даже говорить, что его нет.

Тем не менее все чрезмерное богатство вселенной возможностей Вимана, похоже, будет сведено к нулю, если мы немного изменим пример и будем говорить не о Пегасе, а о круглом квадратном куполе Беркли-колледжа. Если о Пегасе бессмысленно было бы говорить, что его нет, если бы его не было, то таким же самым образом, если бы не было круглого квадратного купола Беркли-колледжа, то было бы бессмысленно говорить о нем, что его нет. Однако, в отличие от Пегаса, круглый квадратный купол Беркли-колледжа нельзя признать даже в качестве не воплощенной в действительность *возможности*. Можем ли мы теперь подвести Вимана к признанию еще и царства не воплощаемых в действительность невозможностей? Если да, то относительно них можно задать довольно много неудобных вопросов. Можно даже надеяться поймать Вимана на противоречии самому себе, заставив его признать, что некоторые из этих сущностей одновременно круглые и квадратные. Но хитрый Виман по-другому решает эту дилемму и признает, что говорить, будто нет квадратного круглого купола Беркли-колледжа – значит высказывать бессмыслицу. Он утверждает, что фраза «круглый квадратный купол» не имеет значения (*meaningless*).

субсистенцией, или бытием) как характеристикой других сущностей. Но эта идея легко опровергается такими контрпримерами, как «отношение числа кентавров к числу единорогов». Если бы имела такая пропорция, то она была бы абстрактной сущностью, а именно числом. Между тем, только изучая природу, мы заключаем, что как число кентавров, так и число единорогов равны нулю, а следовательно – что нет такой пропорции.

²См. Quine W.V. From a Logical Point of View. New York: Harper, 1963, p. 152.

Виман не первый, кто воспользовался этой альтернативой. Доктрина бессмысленности (*meaninglessness*) противоречий не нова. Более того, эта традиция сохранена авторами, которые, похоже, не разделяют ни одну из мотивировок Вимана. Все же было бы странно, если бы какая-то другая мотивировка, кроме той, что мы наблюдали у Вимана, могла в действительности послужить первичным искушением воспользоваться такой доктриной. В самом деле, эта доктрина не имеет никакой собственной привлекательности; и она привела своих приверженцев к таким донкихотским крайностям, как вызов методу доказательства путем *reductio ad absurdum* – вызов, в котором я вижу *reductio ad absurdum* самой доктрины.

Более того, доктрина бессмысленности противоречий имеет серьезный методологический недостаток – она не позволяет в принципе разработать эффективную процедуру проверки того, что является значащим (*meaningful*), а что нет. Мы навсегда потеряли бы возможность вырабатывать систематические методы решения относительно любого ряда знаков: осмыслен (*made sense*) он – хотя бы для каждого индивидуально, не учитывая других людей, – или нет. Ведь из открытия, сделанного в математической логике Черчем³, следует, что не может быть общей, применимой ко всем случаям, процедуры проверки противоречивости.

Я пренебрежительно отозвался о бороде Платона и намекнул на ее спутанность. Я подробно остановился на неудобствах, связанных с необходимостью ее терпеть. Пришло время подумать о том, чтобы принять меры.

Рассел в своей теории так называемых единичных дескрипций ясно показал, как можно было бы значащим образом (*meaningfully*) употреблять выражения, кажущиеся именами, не полагая, что есть сущности, якобы именуемые ими. Имена, к которым теория Рассела непосредственно применима, суть сложные дескриптивные имена, такие, как «автор *Уэверли*», «нынешний король Франции», «круглый квадратный купол Беркли-колледжа». Рассел подвергает такие фразы систематическому анализу как фрагменты целых предложений, в которых они встречаются. Например, предложение «Автор *Уэверли* был поэтом» как целое он объясняет как значащее: «Некто (лучше: нечто) написал *Уэверли* и был поэтом, и ничто другое не написало *Уэверли*». (Цель этого дополнительного простого предложения – утверждать единственность, подразумеваемую определенным артиклем ('the') в выражении '*the author of Waverley*' («автор *Уэверли*»)). Предложение «Круглый квадратный купол Беркли-колледжа розового цвета» объясняется как «Нечто есть круглое и квадратное и является куполом Беркли-колледжа, и розового цвета, и ничто другое не есть круглое и квадратное, и купол Беркли-колледжа»⁴.

Достоинство этого анализа состоит в том, что кажущееся имя, дескриптивная фраза, перефразируется в контексте как так называемый неполный символ. Никакое унифицированное выражение не предлагается в качестве анализа дескриптивной фразы, но высказывание в целом, будучи контекстом этой фразы, получает полноценное значение – истинно или ложно.

Неанализированное высказывание «Автор *Уэверли* – был поэтом» содержит часть «автор *Уэверли*», которой, как ошибочно считают МакИкс и Виман, требуется референция к объекту для того, чтобы вообще быть значащей. Но в переводе Рассела: «Нечто написало *Уэверли* и было поэтом, и ничто другое не написало *Уэверли*» – бремя референции к объекту, изначально лежавшее на дескриптивной фразе, принимают на себя слова того вида, который логики называют связанными переменными, переменными квантификации, а именно такие слова, как «нечто», «ничто», «все». Эти слова, будучи далеки от того, чтобы именовать именно автора «*Уэверли*», вообще не претендуют на то, чтобы быть именами; они соотносятся (*refer to*) с сущностями вообще, со специфической для них преднамеренной неоднозначностью⁵. Эти квантифицирующие слова или связанные переменные, разумеется, представляют собой главную часть языка, и то, что они являются значащими, по крайней мере в контексте, неоспоримо. Но их бытие значащими никоим образом не подразумевает бытие автора «*Уэверли*», или круг-

³Church A. A note on the Entscheidungsproblem // Journal of Symbolic Logic, № 1, 1936, pp. 40 f, 101f.

⁴Подробнее о теории дескрипций см.: Quine W. V. From a Logical Point of View, pp. 85 f., 166 f.

⁵Подробнее о связанной переменной см. Quine W. V. From a Logical Point of View, pp. 82, 102 f.

лого квадратного купола Беркли-колледжа, или каких-то других специально предварительно назначенных объектов.

Там, где речь идет о дескрипциях, уже нет никаких трудностей с утверждением или отрицанием бытия. Утверждение 'There is the author of *Waverley*' («Есть автор *Уэверли*») Рассел объясняет как значащее: «Некто (или, строже, нечто) написал *Уэверли* и ничто другое не написало *Уэверли*». Соответственно, утверждение 'The author of *Waverley* is not' («Нет автора *Уэверли*») он объясняет как чередование: «Или ни одна вещь не написала *Уэверли*, или две или больше вещей написали *Уэверли*». Это чередование ложно, но значаще; и оно не содержит никакого выражения, претендующего на именование автора «Уэверли». Утверждение «Нет круглого квадратного купола Беркли-колледжа» анализируется подобным же образом. Таким образом, старое представление о том, что высказывания о небытии саморазрушительны, оказывается за бортом. Когда утверждение бытия или небытия анализируется теорией дескрипций Рассела, оно перестает содержать какое-либо выражение, хотя бы претендующее именовать мнимую сущность, чье бытие под вопросом; таким образом, то, что высказывание является значащим, больше не может полагаться подразумевающим, что есть соответствующая сущность.

А что же с выражением «Пегас»? Это скорее слово, нежели дескриптивная фраза: аргумент Рассела к нему непосредственно неприменим. Тем не менее его легко можно сделать применимым к таким случаям. Следует только перефразировать «Пегас» в дескрипцию любым способом, который кажется адекватным представлению нашей идеи; скажем, «крылатая лошадь, пойманная Беллерофоном». Заменяя слово «Пегас» такой фразой, можно затем продолжить анализ высказывания «Пегас есть» или «Пегаса нет» точно по аналогии с анализом Расселом высказываний «Автор *Уэверли* есть» и «Автора *Уэверли* нет».

Так, для того чтобы подвести имя, состоящее из одного слова, или мнимое имя, такое, как «Пегас», под теорию дескрипций Рассела, мы, конечно, должны быть способны сначала перевести это слово в дескрипцию. Но это не является действительным ограничением. Если бы понятие о Пегасе было настолько темным или основополагающим, что известными способами нельзя было бы осуществить никакого точного перевода в дескриптивную фразу, нам тем не менее мог бы еще быть доступен следующий искусственный и кажущийся тривиальным прием: мы могли бы обратиться к *ex hypothesi* неанализируемому, неустранимому, атрибуту бытия *Пегасом*, принимая в качестве его выражения глагол 'is-Pegasus' («есть-Пегас») или 'pegasizes' («пегасит»). Само существительное «Пегас» тогда можно было бы рассматривать как производное и в конечном счете отождествить с дескрипцией: «то, что есть-Пегас», «то, что пегасит»⁶.

Ничего страшного нет в том, что введение такого предиката, как «пегасит», похоже, обязывает нас к признанию соответствующего атрибута – пегасирования – на платоновском небе или в умах людей. Ведь ни мы, ни Виман, ни МакИкс пока не спорили о бытии или небытии универсалий, но лишь о бытии или небытии Пегаса. Если в терминах пегасирования мы можем интерпретировать существительное «Пегас» как дескрипцию – предмет теории дескрипций Рассела, – то это избавляет нас от старого представления о том, что о Пегасе нельзя сказать, что его нет, без того, чтобы не предположить, что он в каком-то смысле есть.

Наш аргумент теперь приобрел достаточно общий вид. МакИкс и Виман полагают, что нельзя значимо утверждать высказывание формы 'So-and-so is not' («Того-то нет») с простым или дескриптивным единичным существительным на месте выражения 'so-and-so' («того-то»), если этого того-то нет. Теперь это предположение выглядит в целом достаточно беспочвенным, поскольку единичное существительное, о котором идет речь, всегда можно тривиальным или каким-то иным способом дополнить до единичной дескрипции, а затем проанализировать *a la* Рассел.

⁶Подробнее о такой ассимиляции всех единичных терминов к дескрипциям см. *Quine W. V. From a Logical Point of View*, p. 167; а также: *Quine W. V. Methods of Logic*. New York: Holt, 1950, pp. 218–224.

Когда мы говорим, что есть простые числа больше миллиона, мы обязываем себя принимать онтологию, содержащую числа; когда мы говорим, что есть кентавры, мы обязываем себя принимать онтологию, содержащую кентавров; а когда мы говорим, что есть Пегас, мы обязываем себя принимать онтологию, включающую пегаса. Но мы не обязываем себя принимать онтологию, содержащую Пегаса, или автора «Уэверли», или круглый квадратный купол Беркли-колледжа, когда мы говорим, что Пегаса, или автора «Уэверли», или купола, о котором идет речь, *нет*. Мы можем отбросить заблуждение, будто значимость предложения, содержащего единичный термин, предполагает именуемую им сущность. Единичный термин не нуждается в том, чтобы именоваться, для того чтобы быть значимым (*significant*).

Виман и МакИкс могли бы начать понимать это даже без помощи Рассела, если бы они только заметили – как слишком немногие из нас делают, – что между *значением* (*meaning*) и *наименованием* существует пропасть даже в том случае, когда единичный термин является настоящим именем объекта. Здесь будет уместен пример из Фреге⁷. Фраза «Вечерняя звезда» именуется большой физический объект сферической формы, несущийся сквозь пространство в десятках миллионов миль отсюда. Фраза «Утренняя звезда» именуется то же самое, как, вероятно, впервые было установлено каким-нибудь наблюдательным вавилонянином. Но эти две фразы нельзя считать имеющими одно и то же значение (*meaning*); иначе упомянутый вавилонянин мог бы оставить свои наблюдения и довольствоваться размышлениями о значениях своих слов. Значения же, будучи отличны одно от другого, должны отличаться от именуемого объекта, который является одним и тем же в обоих случаях.

Путаница значения с наименованием не только заставила МакИкса думать, что он не может осмысленно отрицать существование Пегаса, но и, продолжаясь, несомненно, способствовала возникновению его абсурдного представления о том, что Пегас – это идея, ментальная сущность. Структура его заблуждения следующая. Он путает мнимый *именуемый объект* Пегас со значением слова «Пегас», заключая, таким образом, что Пегас должен быть, чтобы слово имело значение. Но что за вещи – значения? Это спорный вопрос; тем не менее можно было бы вполне правдоподобно объяснять значения как идеи в уме, предполагая, что можно, в свою очередь, прояснить смысл идеи идей в уме. Таким образом, Пегас, первоначально перепутанный со значением, оказывается идеей в уме. Еще примечательнее то, что Виман, изначально мотивированный так же, как МакИкс, избежал этой серьезной ошибки, но при этом запутался в не воплощенных в действительность возможностях.

Теперь обратимся к онтологической проблеме универсалий: вопросу о том, есть ли такие сущности, как атрибуты, отношения, классы, числа, функции. МакИкс, что весьма характерно, полагает, что они есть. Говоря об атрибутах, он утверждает: «Есть красные дома, красные розы, красные закаты; это говорит нам дофилософский здравый смысл, с которым мы все должны соглашаться. Но эти дома, розы и закаты имеют что-то общее; и это общее – все, что я имею в виду, говоря об атрибуте красноты». Для МакИкса, таким образом, бытие атрибутов даже очевиднее и тривиальнее, чем тот очевидный и тривиальный факт, что есть красные дома, розы и закаты. Такой взгляд, я полагаю, характерен для метафизики или, по крайней мере, той части метафизики, которая называется онтологией: тот, кто считает, что высказывание на эту тему вообще истинно, должен считать его тривиально истинным. Индивидуальная онтология лежит в основе концептуальной схемы, в которой интерпретируется всякий опыт, даже самый банальный. Если об онтологическом утверждении судить изнутри определенной концептуальной схемы, – а как еще возможно такое суждение? – то оно проходит безоговорочно, не нуждаясь ни в каком отдельном обосновании. Онтологические утверждения непосредственно следуют из всех типов случайных утверждений банального факта, точно так же, как «Есть атрибут» следует из «Есть красные дома, красные розы, красные закаты», – во всяком случае, с точки зрения концептуальной схемы МакИкса.

⁷Frege G. On sense and nominatum // Feigl, H. and Sellars W. (ed.), Readings in Philosophical Analysis. New York: Appleton-Century-Crofts, 1949.

В другой концептуальной схеме аксиоматическое, с точки зрения МакИкса, онтологическое утверждение может быть признано ложным с равной непосредственностью и тривиальностью. Можно признавать, что есть красные дома, розы и закаты, но отрицать, что они имеют между собой что-то общее, допуская, разве что, что такова распространенная и вводящая в заблуждение форма речи. Слова «дома», «розы» и «закаты» истинны относительно разных индивидуальных сущностей – домов, роз и закатов, – а слово «красный», или «красный объект», истинно относительно каждой из различных индивидуальных сущностей, каковыми являются красные дома, красные розы, красные закаты; но в дополнение к этому ни слово «краснота», ни, по той же причине, слова «домовость», «розовость», «закатность» не именуют никаких сущностей, индивидуальных или иных. То, что дома и розы, и закаты, красные, можно считать основной и нередуцируемой характеристикой, и можно быть уверенным, что МакИкс не смог бы сделать большего для всех оккультных сущностей, которые он постулирует под такими именами, как «краснота», в том, что касается реальной объяснительной силы.

Одно средство, с помощью которого МакИкс естественно мог бы попытаться навязать нам свою онтологию универсалий, уже было устранено до того, как мы обратились к проблеме универсалий. МакИкс не может настаивать на том, что такие предикаты, как «красный» или «есть красный», которые мы все согласованно употребляем, должны считаться именами, каждый – единичной универсальной сущности, для того чтобы вообще иметь значение. Ведь мы увидели, что бытие именем чего-либо – это куда более специальная черта, чем бытие значащим. Он даже не может обвинить нас – по крайней мере, не с помощью *этого* аргумента – в том, что мы постулируем атрибут пегасения, допуская предикат «пегасит».

Тем не менее МакИкс использует другую хитрость. «Допустим, – говорит он, – есть это различие между значением и именованием, о котором вы так печетесь. Допустим даже, что «есть красный», «пегасит» и др. не являются именами атрибутов. Но все же вы признаете, что они имеют значения. Однако эти значения, именуемы они или нет, все равно являются универсалиями, и я бы сказал, что некоторые из них могли бы даже быть теми самыми вещами, которые я называю атрибутами, или чем-то очень похожим».

Для МакИкса это необычайно проникательная речь; и единственный известный мне способ парировать аргумент – отказаться признавать значения. Между тем я не испытываю никакого нежелания отказываться признавать значения, поскольку я не отрицаю тем самым, что слова и высказывания являются значащими. МакИкс и я можем быть согласны во всем, что касается нашего деления лингвистических форм на значимые и незначимые, даже несмотря на то, что МакИкс понимает значимость как *имение* (в определенном смысле слова «имение») некоей абстрактной сущности, которую он называет значением, а мое понимание значимости иное. Я по-прежнему волен утверждать, что тот факт, что некое данное языковое высказывание является значащим (или *значимым* (*significant*)), как я предпочитаю выражаться, чтобы не давать повода гипостазировать значения сущностями), есть основное и не редуцируемое положение дел; или я могу взяться его анализировать непосредственно в терминах того, что люди делают, когда имеют место данное языковое высказывание и другие, ему подобные.

Обычные способы успешно говорить, или как бы говорить, о значениях сводятся к двум: *имение* значений, т.е. значимость (*significance*), и *одинаковость* (*sameness*) значения, или синонимия. То, что называется *приданием* (*giving*) значения высказыванию, есть просто произнесение синонима, обычно сформулированного на более ясном языке по сравнению с языком исходного высказывания. Если у нас аллергия на значения как таковые, то мы можем прямо говорить о высказываниях как о значимых или незначимых и синонимичных или гетеронимичных одно другому. Проблема объяснения прилагательных «значимый» и «синонимичный» с какой-нибудь степенью ясности и строгости – предпочтительно, как я это вижу, в терминах поведения – столь же сложна, сколь и важна⁸. Но объяснительная ценность особых и нередуцируемых промежуточных сущностей, называемых значениями, наверняка, иллюзорна.

⁸См.: эссе 2 и 3 из сборника моих статей «From a Logical Point of View».

До настоящего момента я утверждал, что мы можем значимым образом употреблять в предложениях единичные термины, не предполагая тем самым, что есть некие сущности, которые эти термины нацелены именовать. Еще я утверждал, что мы можем употреблять общие термины, например предикаты, не обязывая их быть именами абстрактных сущностей. Далее, я утверждал, что мы можем считать высказывания значимыми и синонимичными или гетеронимичными одно другому, не поощряя признание царства сущностей, называемых значениями. В этом месте МакИкс начинает сомневаться, есть ли вообще предел нашему онтологическому иммунитету. Или *ничего* из того, что мы можем сказать, не будет обязывать нас признавать универсалии или другие сущности, которые мы можем счесть нежелательными?

Я уже предложил отрицательный ответ на этот вопрос, когда говорил о связанных переменных или переменных квантификации в связи с теорией дескрипций Рассела. Мы очень легко можем взять на себя онтологические обязательства, сказав, например, что *есть нечто* (связанная переменная), что красные дома и закаты имеют общего; или что *есть нечто*, представляющее собой простое число, большее миллиона. Но это, по существу, *единственный* способ, каким мы можем взять на себя онтологические обязательства: используя связанные переменные. Употребление мнимых имен – не критерий, поскольку мы можем без колебаний отказать им в именовании, если не сможем обнаружить соответствующую сущность в том, что мы утверждаем в терминах связанных переменных. На самом деле, все имена онтологически бессодержательны, так как я показал, в связи с выражениями «Пегас» и «пегасить», что из имен можно сделать дескрипции, а Рассел показал, что дескрипции можно устранить.

Все, что мы высказываем с помощью имен, можно высказать на языке, избегающем всяческих имен. Быть признанной сущностью значит не что иное, как считаться значением (*value*) переменной. Это примерно равносильно утверждению, в терминах категорий традиционной грамматики, что быть – значит находиться (*be*) в диапазоне референции местоимения. Местоимения являются основными средствами референции; существительным лучше бы подошло название местоместоимений (*pronouns*). Переменные квантификации – «нечто», «ничто», «все» – охватывают всю нашу онтологию, какая только может быть; и мы осуждены принимать частное онтологическое допущение, если, и только если, заявленное допускаемое (*presuppositum*) должно считаться находящимся среди сущностей, охватываемых нашими переменными, для того чтобы сделать истинным одно из наших утверждений.

Мы можем, например, сказать, что некоторые собаки белы, и не обязывать себя тем самым признавать собаковость или белизну сущностями. Выражение «Некоторые собаки белы» говорит, что некоторые вещи из тех, что являются собаками, являются белыми; и, для того чтобы это предложение было истинным, среди вещей, которые охватывает связанная переменная «нечто» ('something'), должны быть несколько белых собак, но не должно быть собаковости или белизны. С другой стороны, когда мы говорим, что некоторые зоологические виды перекрестно оплодотворяемы, мы обязываем себя признать сущностями несколько видов как таковых, несмотря на их абстрактность. Освободиться от этого обязательства мы сможем не раньше, чем выработаем какой-нибудь способ так перефразировать утверждение, чтобы показать, что кажущееся указание на виды нашей связанной переменной есть такой способ речи, которого можно избежать⁹.

Как ясно видно из примера простых чисел больше миллиона, классическая математика по шею увязла в обязательствах перед онтологией абстрактных сущностей. Выходит так, что великий средневековый спор об универсалиях вновь разгорелся в современной философии математики. Но теперь вопрос приобрел большую ясность, так как наши решения о том, к какой онтологии обязывает данная теория или форма речи, опираются на более четкий стандарт: теория обязывает к тем, и только тем, сущностям, на которые должны быть способны указывать связанные переменные этой теории для того, чтобы ее утверждения были истинными.

⁹Подробнее об этом см.: эссе 6 из сборника моих статей «From a Logical Point of View».

В силу того, что стандарт онтологического допущения не был явно порожден философской традицией, современные философы математики в целом не поняли, что они обсуждают ту же самую старую проблему универсалий в новой, проясненной форме. Но фундаментальные различия между современными взглядами на основания математики вполне очевидно сводятся к расхождениям в отношении того, на какой диапазон сущностей следует позволить указывать связанным переменным.

Историки различают три главные средневековые точки зрения по вопросу об универсалиях: *реализм*, *концептуализм* и *номинализм*. По существу, те же самые три доктрины возникают вновь в двадцатом веке в обзорах, посвященных философии математики, под новыми именами: *логицизм*, *интуиционизм* и *формализм*.

Реализм, как это слово употребляется в связи со средневековым спором об универсалиях, представляет собой платоновскую доктрину, утверждающую, что универсалии, или абстрактные, сущности независимы от сознания; сознание может открывать их, но не может их создавать. *Логицизм*, представленный Фреге, Расселом, Уайтхедом, Черчем и Карнапом, позволяет употреблять связанные переменные для указания на абстрактные сущности, не делая различия между известными и неизвестными, определяемыми и неопределяемыми.

Концептуализм признает универсалии, но как создания ума. *Интуиционизм*, в наше время разделяемый в той или иной форме Пуанкаре, Брауэром, Вейлем и другими, санкционирует употребление связанных переменных для указания на абстрактные сущности только тогда, когда эти сущности могут быть индивидуально приготовлены из заранее определенных ингредиентов. Как заметил Френкель, логицизм исходит из того, что классы открываются, в то время как интуиционизм считает, что они изобретаются, – это вполне относится и к старому противопоставлению реализма концептуализму. Это противопоставление не является простым софизмом; оно существенно для классической математики, в рамках которой можно разделять ту или иную позицию. Логицисты, или реалисты, способны, исходя из их допущений, получить канторовские восходящие порядки бесконечности; интуиционисты принуждены ограничиться самым низшим порядком бесконечности и, как косвенное следствие этого, отказаться даже от некоторых классических законов действительных чисел¹⁰. Современное противоречие между логицизмом и интуиционизмом фактически возникло из разногласий по поводу бесконечности.

Формализм, ассоциируемый с именем Гильберта, подобно интуиционизму, с сожалением относится к логицистскому разнузданному использованию универсалий. Но формализм также находит неудовлетворительным и интуиционизм. У такой оценки могла быть одна из двух противоположных причин. Формалист мог, подобно логицисту, возражать против нанесения вреда классической математике; или же он мог, подобно номиналистам в старом споре об универсалиях, возражать против допущения абстрактных сущностей как таковых, даже в ограниченном смысле сущностей как созданий ума. Результат в обоих случаях один и тот же: формалист считает классическую математику игрой незначимых (*insignificant*) способов записи. Эта игра тем не менее может быть полезной – в зависимости от того, насколько полезной она себя уже проявила в качестве подпорки для физиков и техников. Но польза не обязана подразумевать значимость в каком угодно буквальном лингвистическом смысле. Также не обязан подразумевать значимость и знаковый успех математиков в выведении теорем и в нахождении объективных оснований для согласования своих результатов. Ведь адекватное основание для согласия между математиками может обнаружиться просто в правилах, управляющих манипулированием символами (*notations*), – а эти синтаксические правила, в отличие от самих символов, вполне значимы и понятны¹¹.

¹⁰См.: Quine W. V. From a Logical Point of View, pp. 125 ff.

¹¹См.: Goodman N., Quine W. V. Steps toward a constructive nominalism // Journal of Symbolic Logic, № 12, 1947, pp. 105–122. Дальнейшее обсуждение общих вопросов, затронутых на последних двух страницах, см.: Bemays P. Sur le platonisme dans les mathematiques // L'Enseignement mathématique, № 34, 1935–1936, pp. 52–69; Fraenkel A.

Я утверждал, что может быть важно, какой тип онтологии мы допускаем, – особенно это касается математики, хотя она взята только в качестве примера. Как же нам решить спор между соперничающими онтологиями? Конечно, семантическая формула «Быть – значит быть значением переменной» не дает нам ответа на этот вопрос; эта формула, скорее наоборот, служит для проверки согласия любого данного замечания или доктрины с предшествующим онтологическим стандартом. Мы смотрим на связанные переменные в связи с онтологией не для того, чтобы знать, что есть, а для того, чтобы знать, что есть *согласно* данному замечанию или доктрине, нашей собственной или чьей-то еще; это, строго говоря, проблема языка. А что именно есть – другой вопрос.

Есть другие причины действовать семантически, обсуждая вопрос о том, что есть. Одна из них – желание избежать трудности, на которую мы обратили внимание в начале этого эссе: трудности, связанной с моей неспособностью допустить, что есть вещи, которые МакИкс признает, а я нет. До тех пор, пока я придерживаюсь своей онтологии, противоположной онтологии МакИкса, я не могу позволить моим связанным переменным указывать на сущности, относящиеся к онтологии МакИкса, но не к моей. Я могу тем не менее последовательно описывать наше несогласие, характеризуя утверждения МакИкса. Я могу говорить о предложениях МакИкса, просто на том основании, что моя онтология допускает языковые формы или, по крайней мере, конкретные надписи и высказывания.

Другая причина перехода на семантический уровень заключается в необходимости нахождения общей почвы для спора. Онтологическое разногласие предполагает разногласие в основаниях концептуальных схем; тем не менее, несмотря на эти разногласия в основаниях, МакИкс и я находим, что наши концептуальные схемы достаточно сходны в своих средних и высших разветвлениях, чтобы позволить нам успешно коммуницировать по таким вопросам как политика, погода и в особенности язык. В той мере, в какой наш основной спор об онтологии может быть переведен на уровень семантического спора о словах и о том, что с ними делать, разрушение этого спора сомнительными аргументами (*question-begging*) может быть отложено.

Таким образом, неудивительно, что онтологический спор должен перерасти в спор о языке. Но не следует спешить с выводом о том, что вопрос о том, что есть, зависит от слов. Переводимость вопроса в семантические термины еще не показатель того, что это лингвистический вопрос. Увидеть Неаполь – значит носить имя, которое, если поставить его впереди слов «видит Неаполь», дает истинное предложение; но в видении Неаполя при этом нет ничего лингвистического.

То, как мы принимаем онтологию, я думаю, в принципе подобно тому, как мы принимаем научную теорию – скажем, систему физики: мы допускаем, по крайней мере до тех пор, пока остаемся разумными существами, простейшую концептуальную схему, в которой можно согласовать и организовать разрозненные фрагменты неоформленного опыта. Определившись в отношении общей концептуальной схемы науки в самом широком смысле, мы определяем нашу онтологию; а соображения, определяющие разумное конструирование любой части этой концептуальной схемы, например биологической или физической, не отличаются по виду от соображений, определяющих разумное конструирование целого. В какой степени можно утверждать относительно признания любой системы научной теории, что оно есть вопрос языка, в той же степени – но не в большей – это можно утверждать и относительно допущения любой онтологии.

Но простота как руководящий принцип конструирования концептуальных схем – не такая уж ясная и недвусмысленная идея; она вполне способна задать двойной или множественный стандарт. Представим себе, например, что мы изобрели самый экономичный набор понятий,

A. Sur la notion d'existence dans les mathématiques // L'Enseignement mathématique, № 34, 1935–1936, pp. 18–32; Black M. The Nature of Mathematics. London: Kegan Paul, 1933; New York: Harcourt Brace, 1934.

пригодных для детального отчета о непосредственном опыте. Допустим, что сущности, предполагаемые этой схемой, – значения связанных переменных – представляют собой индивидуальные субъективные события ощущения или рефлексии. Мы все же, несомненно, обнаружим, что физикалистская концептуальная схема, нацеленная на описание внешних объектов, дает большие преимущества при упрощении всех наших отчетов. Сводя воедино рассеянные чувственные события и имея с ними дело как с восприятиями одного объекта, мы сводим сложность нашего потока опыта к управляемой концептуальной простоте. Правило простоты, конечно, является нашей руководящей максимой, когда мы закрепляем за чувственными данными объекты: мы связываем предыдущее и последующее ощущение круглого с одним и тем же так называемым пенни или с двумя разными так называемыми пенни, подчиняясь требованиям максимальной простоты нашей совокупной картины мира.

Здесь у нас есть две конкурирующие концептуальные схемы: феноменалистская и физикалистская. Какая из них победит? Каждая имеет свои преимущества; каждая по-своему проста. Каждая, я полагаю, заслуживает, чтобы ее развивали. О каждой действительно можно сказать, что она фундаментальнее, хотя и в разных смыслах: одна – эпистемологически фундаментальна, другая – физически.

Физическая концептуальная схема упрощает наше описание опыта, поскольку позволяет связывать мириады разрозненных чувственных событий с единичными так называемыми объектами; но все же неправдоподобно, чтобы каждое предложение о физических объектах можно было действительно перевести на феноменалистический язык каким угодно сложным и непрямым способом. Физические объекты – это постулированные сущности, завершающие и упрощающие наше описание потока опыта, точно так же, как введение иррациональных чисел упрощает законы арифметики. С точки зрения только концептуальной схемы элементарной арифметики рациональных чисел расширенная арифметика рациональных и иррациональных чисел имела бы статус удобного мифа, более простого, чем буквальная истина (а именно арифметика рациональных чисел), и все же содержащая эту буквальную истину как свою отдельную часть. Подобным образом с феноменалистической точки зрения концептуальная схема физических объектов представляет собой удобный миф, более простой, чем буквальная истина, и все же содержащий ее как свою отдельную часть¹².

А что делать с классами или атрибутами физических объектов? С точки зрения строго физикалистской концептуальной схемы платонистическая онтология такого вида является мифом в той же степени, в какой сама физикалистская концептуальная схема является мифом для феноменализма. Этот высший миф, в свою очередь, хорош и полезен постольку, поскольку он упрощает наше описание физики. Поскольку математика является неотъемлемой частью этого высшего мифа, его польза для физической науки вполне очевидна. Но то, что я тем не менее говорю о классах и атрибутах как о мифе, отражает ту философию математики, которую я ранее упоминал, называя ее формализмом. Между тем чистый эстет или феноменалист может, в свою очередь, с равным правом отнести формализм к физической концептуальной схеме.

Есть удивительно точная в некоторых дополнительных и, возможно, случайных отношениях аналогия между мифом математики и мифом физики. Взять, к примеру, ускоренный в начале века открытием парадокса Рассела и других антиномий теории множеств кризис в основаниях математики. Эти противоречия приходилось устранять неинтуитивными средствами *ad hoc*¹³; наше математическое мифотворчество стало взвешенным и ясным для всех. А что же физика? Здесь возникло противоречие между волновым и корпускулярным описаниями света; и если это противоречие не было таким совершенным, как парадокс Рассела, то потому лишь, я подозреваю, что физика не так совершенна, как математика. С другой стороны, второму великому современному кризису в основаниях математики – ускоренному в 1931 г.

¹²Арифметической аналогией я обязан Франку. См.: *Frank P. Modern Science and Its Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1949, pp. 108 f.

¹³См.: *Quine W. V. From a Logical Point of View*, pp. 90 ff., 96 ff., 122 ff.

гёделевским¹⁴ доказательством того, что арифметика содержит нерешаемые утверждения, – сопровождал кризис в физике в виде принципа неопределенности Гейзенберга.

На предшествующих страницах я взялся показать, что некоторые общие аргументы в пользу определенных онтологий ошибочны. Затем я выдвинул ясный стандарт решения вопроса о том, каковы онтологические обязательства теории. Но какую онтологию в самом деле следует принять? – этот вопрос остается открытым. Очевидный совет, который здесь можно дать, – это терпимость и экспериментаторский дух. Пусть мы какими угодно средствами выяснили, насколько физикалистская концептуальная схема может быть сведена к феноменилистической; но и физикой все равно надо продолжать заниматься, так как она несводима *in toto*. Пусть мы увидели, как или до какой степени естественная наука может считаться независимой от платонистической математики; но давайте также продолжать заниматься математикой и углубляться в ее платонистические основания.

Среди различных концептуальных схем, наилучшим образом подходящих к этим разным занятиям, одна – феноменилистическая – притязает на эпистемологический приоритет. Если смотреть изнутри феноменилистической концептуальной схемы, онтологии физических объектов и математических объектов представляют собой мифы. Между тем качество мифа относительно; в данном случае – относительно эпистемологической точки зрения. Эта точка зрения – одна из многих, она соответствует одному из множества наших различных интересов или одной из множества наших различных целей.

OCR: Александр Гребеньков, greb@kursknet.ru

¹⁴Gödel K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme // Monatshefte für Mathematik und Physik, №38, 1931, pp. 173–198.